
МИФЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

М. В. СТРОГАНОВ¹

*Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)*

Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН

ЛОМОНОСОВ: МИФ О ПРИЗВАНИИ КУЛЬТУРЫ

Роль М.В. Ломоносова в русской культуре как создателя отечественной науки европейского типа отразилась в мифе о признании. Истоки этого мифа восходят к автобиографическим рассказам самого Ломоносова, который был склонен сочинять некоторые эпизоды собственной жизни по моделям хорошо известной ему житийной словесности. Эти рассказы прошли большую литературную обработку в произведениях Г.Р. Державина, М.Н. Муравьева, К.Н. Батюшкова, П.А. Плетнева, А.С. Грибоедова, А.Ф. Мерзлякова и окончательно закрепились в первой трети XIX в. в литературном тексте А.С. Пушкина (после него у Е.Л. Милькеева и Н.А. Некрасова) и в изобразительном тексте И.П. Мартоса.

Ключевые слова. М.В. Ломоносов, миф, история культуры, житийный канон

M. V. STROGANOV

*Russian State University named after A.N. Kosygin
(Technologies. Design. Art)*

Institute of world literature. A. M. Gorky

MIKHAIL LOMONOSOV: THE MYTH OF VOCATION OF CULTURE

Mikhail Lomonosov's role in the Russian culture as the creator of Russian science of European type reflected itself in the myth of vocation. The origins of this myth go back to the autobiographical narration of Lomonosov himself, who liked to present certain episodes of his life according to hagiographic models he was well acquainted with. These stories underwent literary adaptation in works by Gavriil Derzhavin, Mikhail Muravyev, Konstantin Batyushkov, Petr Pletnev, Alexander Griboedov, Aleksey Merzlyakov, and assumed their final form in the first third of the nineteenth century in Alexander Pushkin's text (and later, in the writings of Evgueny Milkeev, Nikolay Nekrasov and Fyodor Glinka), as well as in the figurative text by Ivan Martos.

¹ Михаил Викторович Строганов, доктор филологических наук, профессор Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», Институт славянской культуры), ведущий научный сотрудник *Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН*

Keywords: Mikhail Lomonosov, myth, history of culture, hagiographic canon

Ломоносов как ученый и культурный деятель был такой разносторонней фигурой, что с точки зрения ни одной отдельно взятой науки размах его просто не виден. Мы думаем, в какой сфере деятельности он сделал самое значительное, – но думать так неправильно. Значение Ломоносова не в том, что он сделал в той или иной сфере знания и культуры, а в том, что он пробудил и сформировал эти сферы знания для России. Хотя уже в XIX в. ученые следовали в оценке Ломоносова за А.С. Пушкиным, который назвал Ломоносова «первым нашим университетом» [Пушкин, 1937, с. 249] (см. особенно: [Пыпин, 1895а]; [Пыпин, 1895б]), мысль эта еще не стала фактом общественного сознания. И поэтому сейчас самое время напомнить о том, что именно в лице Ломоносова русская культура была призвана на европейскую арену.

Однако меня в данном случае интересует не научно-категориальное оформление этого представления, а формирование его в виде мифа как формы общественно-бытовой практики.

Сам Ломоносов постоянно и настойчиво мифологизировал многие эпизоды своей жизни. Это мера была во многом вынужденной, поскольку его низкое социальное происхождение в условиях сословной России XVIII в. создавало препятствия, для преодоления которых требовалось подключение выдумки¹. Я имею в виду недоговорки и обобщения, в которых так или иначе отражались некоторые реалии его жизни.

Например, в письме к И.И. Шувалову от 10 мая 1753 г. Ломоносов писал: «...отец, никогда детей кроме меня не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил, оставил всё довольство (по тамошнему состоянию), которое он для меня кровавым потом нажил и которое после его смерти чужие расхитят» [Ломоносов, 1959, с. 478]. Эти слова «не совсем точны»: Ломоносов был единственным ребенком от первого брака его отца. Но от второго и третьего браков у его отца были и другие дети, причем в момент ухода Ломоносова из родительского дома у его отца был уже второй сын [Модзалевский, 1911, с. 335]. Кроме того, Василий Ломоносов никогда не имел возможности попрекнуть своего первенца уходом из семьи, поскольку тот никогда после своего бегства не возвращался на родину, и не переписывался с родными до своего возвращения в Россию в 1741 г., когда отец его уже умер.

В другом письме к тому же И.И. Шувалову от 31 мая 1753 г.

¹ Я не отношу сюда заведомый обман, к которому Ломоносов вынужден был прибегнуть в начале своего ученического пути, выдавая себя за дворянского сына. Этот заведомый обман имел конкретные цели и виды и был даже неизбежен.

Ломоносов писал: «Я, напротив того (позвольте, милостивый государь, не ради тщеславия, но ради моего оправдания объявить истину), имеючи отца хотя по натуре доброго человека, однако в крайнем невежестве воспитанного, и злую и завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу по-пустому за книгами. Для того многократно я принужден был читать и учиться, чему возможно было, в уединенных и пустых местах и терпеть стужу и голод, пока я ушел в Спасские школы» [Ломоносов, 1959, с. 481-482]. Ломоносов называет здесь мачехой третью жену своего отца, вдову Ирину Семеновну [Ломоносов, 1959, с. 334]. Была ли она на самом деле «зла и завистлива», мы не знаем, но гнев ее на пасынка нам вполне понятен. Бедная женщина никак могла взять в толк, зачем парню в возрасте от 13 лет (она вышла замуж за отца Ломоносова в 1724 г.) до 19 лет (Ломоносов ушел в Москву) нужны какие-то книжки, когда он должен заниматься крестьянской работой и бегать за девками.

Эти биографические признания Ломоносова не имели той практической цели, какую он имел, когда выдавал себя за дворянского сына, поскольку к 1753 г. его сословное происхождение было уже всем хорошо известно, а сложности, связанные с ним, были успешно преодолены, социальный статус стал достаточно устойчивым. Однако подобного рода построения должны были сформировать в общественном сознании миф о человеке, оставившем во имя науки и знания все материальные блага и отказавшегося от простых человеческих радостей.

Вообще мифологические образы всегда связываются с великими личностями. Однако в данном случае мы не будем брать их все. В частности, к теме нашей работы не относятся некоторые мифические предания, которые были записаны на родине Ломоносова в 1865 г. в селении Матигорах безымянным почитателем его памяти. По его свидетельству, местные жители, «к сожалению, не только не сообщили никаких сведений о Ломоносове, но даже не могли себе дать отчета, что он был за человек, чем занимался и чем прославился; знают только то, что он из крестьян сделался большим баринном. Впрочем, некоторые из присутствующих заподозрили его в колдовстве; говорили, что он, как и все *колдуны*, разводил тучи. Однажды, когда над Петербургом нависла грозная туча, императрица Екатерина II приказала Ломоносову отвести эту тучу. Ломоносов долго отказывался, что это-де не по силам его; наконец, послушался. Как только стал отводить тучу, разразилась гроза и убила его» [Пекарский, 1873, с. 890]. Источник этого мифологического рассказа очевиден. До крестьян Матигор докатились слухи о смерти Г.В. Рихмана в 1753 г. во время опытов с атмосферным электричеством: «ученого убило».

Ломоносов откликнулся на смерть Рихмана в «Слове о явлениях воздушных от электрической силы происходящих», произнесенном в заседании Академии наук 26 ноября 1753 г. А в письме к И.И. Шувалову от 26 июля 1753 г. он писал: «Что я ныне к вашему превосходительству пишу, за чудо почитайте, для того что мертвые не пишут. Я не знаю еще или по последней мере сомневаюсь, жив ли я или мертв. Я вижу, что г. профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время. <...> Между тем умер г. Рихман прекрасною смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет...» [Ломоносов, 1959, с. 484-485]. Для матигорских крестьян это случайное совпадение судеб двух петербургских ученых не было известно, для них существовал только один ученый, и когда они узнали, что ученый умер, у них не было сомнения, что речь идет о Ломоносове. Это самый обычный ход общественной мысли, но эта мифологическая легенда не относится к мифу о призвании. Поэтому мы не учитываем такие факты.

Мы не учитываем и более позднюю мифологизацию образа Ломоносова как помора и сына Севера, которая сформировалась в литературе второй половины XIX – XX в. [Николаев, 2003]. Согласно этим представлениям Ломоносов потому и совершил свой жизненный подвиг, что был сыном Севера: стойким, сильным, упорным человеком. Собственно, это уже миф о северном характере.

Наконец, мы не учитываем и миф о Ломоносове как творце (или культурном герое) новой русской литературы, который является продолжением и вариацией мифа о призвании: будучи призван к служению культуре, Ломоносов начал творить гармоничный мир из хаоса. Этот миф начал складываться еще в XVIII в., а в современной истории литературы он подменил собой реальную картину историко-литературного развития. Лучше всех этот миф сформулировал Державин в стихотворении «К портрету Михаила Васильевича Ломоносова» (1779):

Се Пиндар, Цицерон, Вергилий – слава россов,
Неподражаемый, бессмертный Ломоносов.
В восторгах он своих где лишь черкнул пером,
От пламенных картин поныне слышен гром
[Державин, 1958, с. 444].

Но нас не интересует этот узкопрофессиональный аспект проблемы, тем более что он уже основательно и подробно проанализирован в литературе [Литературное творчество, 1962].

К числу интересующих нас источников относятся некоторые поздние автобиографические рассказы Ломоносова. Этими рассказами

Ломоносов хотел подтвердить свою избранность, свои особые достоинства, дарованные ему свыше. Я. Штелин в статье «Черты и анекдоты для биографии Ломоносова, взятые с его собственных слов» (1783) приводит следующий эпизод: «В Москве, где у него не было ни души знакомых, спал он первую ночь на возу. Проснувшись на заре, он стал думать о своем положении и с горькими слезами пал на колена, усердно моля Бога ниспослать ему помощь и защиту. В то же утро пришел господский дворецкий на рынок закупать рыбы. Он был родом с той же стороны и, разговорившись с Ломоносовым, узнал его. Он приютил его на господском дворе между дворнею» [Ломоносов в воспоминаниях, 1962, с. 52]. Статья Штелина не была опубликована в свое время. Но ею широко пользовался (и даже пересказывал ее) М.И. Веревкин в статье «Жизнь покойного Михаила Васильевича Ломоносова», которая была впервые опубликована в первой части «Полного собрания сочинений Михаила Васильевича Ломоносова, с приобщением жизни сочинителя и с прибавлением многих его нигде еще не напечатанных творений» (1784). Веревкин излагает этот эпизод следующим образом: «Первую ночь проспал Ломоносов в общебвнях у рыбы ряды. Назавтрее проснулся так рано, что еще все товарищи его спали. В Москве не имел ни одного знакомого человека. От рыбаков, с ним приехавших, не мог ожидать никакой помощи: занимались они продажею только рыбы своей, совсем об нем не помышляя. Овладела душою его скорбь; начал горько плакать; пал на колени; обратил глаза к ближней церкви и молил усердно Бога, чтобы его призрил и помиловал.

Как уже совсем рассвело, пришел какой-то господской приказчик покупать из обоза рыбу. Был он земляк Ломоносову, коего лице показалось ему знакомо. Узнав же, кто он таков и об его намерении, взял к себе в дом и отвел для житья угол между слугами того дома» [Ломоносов в воспоминаниях, 1962, с. 43]. Веревкин использовал заметки Я. Штелина, но передавал их содержание в беллетризованной форме.

Другой подобного рода эпизод Я. Штелин излагает следующим образом: «Дорогою, когда он плыл морем в свое отечество, случилось с ним происшествие, которое глубоко тронуло его и которого он никогда не мог забыть.

Он проснулся после странного сновидения, в котором он очень ясно видел своего отца, выброшенного кораблекрушением и лежащего мертвым на необитаемом, неизвестном острове в Белом море, не имевшем имени, но памятном ему с юности, потому что он некогда был к нему прибит бурей с отцом своим. Лишь только он приехал в Петербург, как поспешил справиться об отце своем на бирже у всех прибывших из Архангельска купцов и у холмогорских артельщиков и наконец узнал, что отец его отправился на рыбную ловлю еще прошлую осень, и с тех пор не возвращался, а потому и полагают, что с ним случилось несчастье. Ломоносов так был поражен этим известием, как прежде своим пророческим сном. Он дал себе слово

отправиться на родину отыскать тело своего несчастного отца на острове, известном ему с юности и представившемся теперь ему во сне со всеми подробностями и признаками, и с честью предать его земле. Но так как занятия его в Петербурге не позволили ему исполнить это намерение, то он с купцами, возвращавшимися из Петербурга на его родину, послал письмо к тамошним родным своим, поручил своему брату исполнить это предприятие на его счет, описал подробно положение острова и просил убедительно, чтоб тамошние рыбаки, отправившись на рыбную ловлю, пристали к нему, отыскиали на нем тело отца его и предали его земле. Это было исполнено еще в то же лето: партия холмогорских рыбаков пристала к этому дикому острову, отыскала мертвое тело на описанном месте, похоронила его и взвалила большой камень на могилу. Известие о совершенном исполнении его желания, полученное им в следующую зиму, успокоило его всегдашнюю тайную печаль, причину которой он только впоследствии сообщил другим» [Ломоносов в воспоминаниях, 1962, с. 55-56].

Веревкин передает его так: «На возвратном своем пути морем в отечество единожды приснилось ему, что видит выброшенного, по разбитии корабля, отца своего на необитаемый остров в Ледяном море, к которому в молодости своей бывал некогда с ним принесен бурею. Сия мечта впечатлелась в его мыслях. Прибыв в Петербург, первое его попечение было навеститься от архангелогородцев и холмогоров об отце своем. Нашел там родного своего брата и услышал от него, что отец их того же года по первому вскрытии вод отправился по обыкновению своему в море на рыбной промысел; что минуло уже тому четыре месяца, и ни он, ниже кто другой из его артели поехавших с ним еще не воротились. Сказанной сон и братние слова наполнили его крайним беспокойством. Принял намерение проситься в отпуск, ехать искать отца на тот самой остров, который видел во сне, чтоб похоронить его с достодолжною честью, если подлинно найдет там тело его» [Ломоносов в воспоминаниях, 1962, с. 47].

Итак, в первом случае искренняя мольба к Господу находит немедленный отклик, и герой получает заступника и ходатая. Второй случай представляет собой вещий сон, в котором герою открывается некая истина. Оба эти эпизода имеют вполне житейное происхождение и четко вписываются в рамки тех откровений, которые являются в житиях святым отцам. Ломоносов, открывающий России новую для нее европейскую светскую культуру, мыслит и рассказывает о себе вполне в традиции допетровской Руси. Это не удивительно, если мы вспомним, что родился он еще при Петре и что от Полтавской битвы его рождение отделяло всего три года. Другие подобного рода эпизоды в биографии Ломоносова не известны. Но именно на основе этих двух эпизодов и началось активное мифообразование.

Однако для формирования мифа был необходим некоторый

толчок извне. И таковым толчком стало представление о том, что поэты – это избранные люди, которым дарованы особые способности и особый путь жизни. Первым, кто сформулировал эту идею применительно к Ломоносову, был М.Н. Муравьев, который в молодости посетил родину Ломоносова и потом был активным пропагандистом его творчества (см.: [Сионова, 2011, с. 14-22]; здесь же – литература вопроса). В стихотворении «Избрание стихотворца» (первая половина 1770-х ?) он писал:

Природа, склонности различные вселяя,
Одну имеет цель, один в виду успех:
По своенравию таланты разделяя,
Путями разными ведет ко счастью всех.

Глас трубный одному на бранном поле сроден,
Победы шумной клик и побежденных стон;
Другому сельский кров и плуг косой угоден
И близко ручейка невозмущенный сон.

Я, блеском обольщен прославившихся россов,
На лире пробуждать хвалебный глас учусь
И за кормой твоей, отважный Ломоносов,
Как малая ладья, в свирепый понт несусь
[Муравьев, 1967, с. 143].

Муравьев пишет о том, что природа дарует разным поэтам разные склонности и избирает их таким образом к той или иной социальной роли. Никаких снов и видений в этом стихотворении пока нет, хотя Ломоносов уподоблен мощному северному кораблю, вслед за кормой которого в море поэзии пускается и его поклонник – сам Муравьев.

Муравьев был вообще едва ли не первый пропагандист Ломоносова после некоторого забвения, которое наступило сразу после его смерти и продолжалось около десяти лет. Кроме этого стихотворения он упоминает Ломоносова еще в одном стихотворении – в большом описательном «Путешествие» (первая половина 1770-х гг.):

С своими зданьями предстал, Петрополь, ты.
Се ты, прекрасный сад, героем возвращенный,
Се Марсов храм, се храм, наукам посвященный.
Здесь Ломоносов пел, Лосенков там писал.
Я славлю вас, брега, к которым днесь пристал
[Муравьев, 1967, с. 145].

Но самое главное, он был автором «Похвального слова Михайле Васильевичу Ломоносову, писал лейб-гвардии Измайловского полку каптенармус Михайло Муравьев», в котором, в частности, отмечал: «Щедрая природа, наделяя всех смертных вообще различными дарованиями, не поставила ему родиться от благородных родителей; не рода славою приобрел он себе честь и имя, но наукою и знанием. Отец его не был из тех, которые состоянием их в блещущем чине поставлены бывают, но коих труд и работа, звание и пища и которые не в сияющих златом и лазурем чертогах, но в убогих хижинах обитают. На берегах славной из рек российских, реки Северная Двины рожден он был. Крепок от природы, посредственного роста, велик разумом был он. Воспитание его не согласовало бы с таковою, кажется, славою; ибо какое воспитание мог дать отец ему? Но нет препятствия: великий ум скоро познавается; он вскоре понял, что не к такому роду жизни рожден он был, и вскоре явился между трудящимися в храме Минервином, и вскоре получил он председательство между русскими учеными; наконец, имел благоволение великой дочери Петровой, любим и почитаем всеми русскими вельможами, каковых не производил счастливой век милосердия Елисаветы, великих в разуме, достоинствах и просвещении, прославляем повсеместно всеми, которых слава российская тронуть может, и сожалеем всеми честными людьми, скончался он 1765 года на днях святых Пасхи» [Ломоносов в воспоминаниях, 1962, с. 36].

Муравьев лучше нашего знал, что судьба Ломоносова была очень трудна, но он подчеркивает чудесность всей жизни Ломоносова. В этой жизни торжествует случай, который носит в данном случае имя *вскоре*, *скоро*: «нет препятствия: великий ум *скоро* познавается; он *вскоре* понял, что не к такому роду жизни рожден он был, и *вскоре* явился между трудящимися в храме Минервином, и *вскоре* получил он председательство между русскими учеными». Конечно, Муравьев отчасти прав. Ломоносов прожил очень короткую жизнь, поэтому каждый новый шаг следовал вскоре после предыдущего. Но Муравьев прав только отчасти. Каждый новый шаг стоил Ломоносову огромных усилий, а «препятствий» было более чем достаточно, так что слово *вскоре* тут вовсе не подходит. Однако Муравьев пишет скоро и вскоре, и если в его тексте еще нет самого мифа, то сам мифический конструкт преобразования уже наличествует.

Следующий шаг в мифологизации образа Ломоносова сделал дальний родственник и верный ученик Муравьева К.Н. Батюшков. В статье «О характере Ломоносова» он писал: «Конечно, не одна страсть к учению, которая не могла еще вполне овладеть душою отрока, воспитанного среди болот холмогорских, не одна сия страсть, столь благородная и бескорыстная, принудила его оставить родину. Семейственные огорчения и некоторое тайное беспокойство души было

к тому важнейшим побуждением. Но сие беспокойство, сие тусклое желание чего-то нового и лучшего, сия предприимчивость, удивительная в столь нежном возрасте, не означали ли великую душу и нечто необыкновенное?» [Батюшков, 1989, с. 46].

Рассмотрим построение этого фрагмента. Слова о «семейственных огорчениях» явно восходят к письму Ломоносова к Шувалову о «злой и завистливой мачехе». «Болота холмогорские» – это метафора «отца хотя по натуре доброго человека, однако в крайнем невежестве воспитанного». Впрочем, «Болота холмогорские» могут быть метафорическим истолкованием реального топонима, поскольку из биографии Ломоносова, составленной Веревкиным, известно, что «Михайло Васильевич Ломоносов родился 1711 года, в Двинском уезде, в Куростровской волости, в деревне Денисовской, на Болоте тоже, на острове, лежащем недалеко от Холмогор» [Ломоносов в воспоминаниях, 1962, с. 42]. То есть деревня Денисовка называлась также и Болото, но Веревкин, услышав слово *Болото*, понял его не как топоним, а как название природного явления. «Некоторое тайное беспокойство души» – это, скорее всего, отголосок слухов о связи Ломоносова со старообрядцами, единственным источником которых было также указание Веревкина: «На тринадцатом году младый его разум уловлен был раскольниками, так называемого толка беспоповщины; держался оного два года, но скоро познал, что заблуждает» [Ломоносов в воспоминаниях, 1962, с. 50]. Батюшков берет номинативную характеристику мачехи и превращает ее в сюжетное положение, берет описание отца и превращает его в метафору, берет указание на и без того туманную связь Ломоносова с раскольниками (была ли она вообще, тем более у мальчика в 13 лет?) и нагоняет еще больше тумана. Всё это, конечно, еще не миф, но за туманом всё это приобретает вполне мифологические черты.

Следующий шаг в мифотворчестве Батюшков делает, повторяя и распространяя рассказ о видении на корабле: «Чувствительность и сильное, пламенное воображение часто владели нашим поэтом, конечно, против воли его. На возвратном пути из Амстердама по морю Ломоносов, сидя на палубе, при шуме волн погружался в сладкую задумчивость. Открытое море, шум ветра и непрерывное колебание корабля напоминали ему первые лета юности, проведенные посреди непостоянной стихии: они напоминали приморскую его родину и всё, что ни есть сладостного для сердца нежного и доброго. Исполненному воспоминаний, однажды во сне ему привиделась страшная буря на волнах Ледовитого моря, кораблекрушение и холодный труп отца его, выброшенный на тот самый остров, куда Ломоносов в молодости своей приставал с ним для совершения рыбной ловли. Он в ужасе проснулся. Напрасно призывает на помощь рассудок свой, напрасно желает рассеять мрачные следы сновидения: мечта остается в глубине сердца, и ничто не

в силах изгладить ее. Снова засыпает и снова видит шумное море, необитаемый остров и бледный труп родителя. Так! мы нередко уверяемся опытом, что провидение влагает в нас какие-то тайные мысли, какое-то неизъяснимое предчувствие будущих злополучий, и событие часто подтверждает предсказание таинственного сна – к удивлению, к смирению слабого и гордого рассудка. Ломоносов это испытал в жизни своей. Отец его погиб в волнах, и тело его найдено рыбаками на том необитаемом острове, который назначил им печальный сын, по внушению пророческого сновидения» [Батюшков, 1989, с. 47-48]. У Батюшкова мы видим не разовый, как было у Штелина и Веревкина, а возвращающийся, повторяющийся сон, подобный тем, которые постоянно встречаются в житиях. И теперь этот сон напрямую назван «пророческим сновидением». Для такого вещего сна внешние мотивы не обязательны, но Батюшков присочиняет и внешнюю мотивировку его: «Открытое море, шум ветра и непрерывное колебание корабля напоминали ему первые лета юности, проведенные посреди непостоянной стихии». Наконец, Батюшков зримо живописует море и остров, который привиделся Ломоносову и на котором он бывал в детстве с отцом: эта зрительно достоверная деталь очень важна для удостоверения в том, что всё рассказанное было на самом деле, и для превращения метафоры в миф.

Это превращение метафоры в миф окончательно совершается у Батюшкова в пространном «Послании И.М. Муравьеву-Апостолу» (1814–1815):

Нет! Нет! И в Севере любимец их <муз> не дремлет,
Но гласу громкому самой природы внемлет,
Свершая славный путь, предписанный судьбой.
Природы ужасы, стихий враждебный бой,
Ревущие со скал угрюмых водопады,
Пустыни снежные, льдов вечные громады,
Иль моря шумного необозримый вид –
Всё, всё возносит ум, всё сердцу говорит
Красноречивыми, но тайными словами
И огонь поэзии питает между нами.
Близ Колы пасмурной, среди диких рыбарей
В трудах воспитанный, уже от юных дней,
Наш Пиндар чувствовал сей пламень потаенный,
Сей огонь жидкительный, дар бога драгоценный,
От юности в душе Небесного залог,
Которым Фебов жрец исполнен, как пророк.
Он сладко трепетал, когда сквозь мрак тумана

Стремился по зыбям холодным океана
 К необитаемым, бесплодным островам
 И мрежи расстилал по новым берегам.
 Я вижу мысленно, как отрок вдохновенной
 Стоит в безмолвии над бездной разъяренной
 Среди мечтания и первых сладких дум,
 Прислушивая волн однообразный шум...
 Лице горит его, грудь тягостно вздыхает,
 И сладкая слеза ланиту орошает,
 Слеза, известная таланту одному!
 В красе божественной любимцу своему,
 Природа! ты не раз на Севере являлась
 И в пламенной душе навеки начерталась.
 Исполненный всегда виденьем первых лет,
 Как часто воспевал восторженный поэт:
 «Дрожащий, хладный блеск полуношной Авроры
 И льдяные, в морях носимы ветром, горы,
 И Уну, спящую средь звонких камышей,
 И день, чудесный день, без ночи, без зарей!..»
 [Батюшков, 1989, с. 223-224].

Картина, нарисованная Батюшковым, была принципиально новаторской. Из биографий Ломоносова, написанных Я. Штелиным и М. Веревкиным, известно следующее: «...когда он подросток, отец его, рыбак, брал его несколько раз с весны до поздней осени с собою на рыбную ловлю, в Колу, в Белое и даже в Северное море, до 70 градусов северной широты, о чем он сам припоминал впоследствии» [Ломоносов в воспоминаниях, 1962, с. 51]; «...отец его государственной крестьянин Василий Дорофеев сын, житель сей волости, промыслом рыбак. Начал брать его от десяти до шестнадцатилетнего возраста с собою, каждое лето и каждую осень на рыбные ловли в Белое и Северное море. Ездил с ним даже до Колы, а иногда и в Северный океан до 70 градусов широты места. Сам он рассказывал обстоятельства сих стран о ловле китов и о других промыслах» [Ломоносов в воспоминаниях, 1962, с. 42]. Веревкин использует географические понятия исключительно корректно: до Колы (река на Кольском полуострове) иначе не дойдешь, кроме как пройдя Северное (ныне Баренцево) море, и только потом уже можно идти в Северный океан. Поэтому слово *даже* у него и стоит не перед Колы, а перед Северным морем. Батюшков впервые использует эти «географические» подробности, что придает его стихам эффект присутствия: поэт как будто сам всё это видел своими глазами, и

читатель полностью доверяется ему.

Новизна этого стихотворного изложения состоит также и в том, что Батюшков конкретизирует возраст своего героя. Муравьев конкретно не указывает, в каком именно возрасте Ломоносов впервые услышал призыв к новому для него служению. Батюшков пишет: «уже от юных дней», «отрок вдохновенной», «от юности в душе Небесного залог».

Кроме того, у Муравьева, как мы помним, природа избирает поэтов, но влагает каждому из них разные интересы и темы, потому что сама она крайне разнообразна. У Батюшкова талант, призвание отрока Ломоносова, с одной стороны, просто соответствуют величию окружающей его природы: «отрок вдохновенной / Стоит в безмолвии над бездной разъяренной / Среди мечтания и первых сладких дум». Это простой природный параллелизм, ни к чему особенному не обязывающий. Но, с другой стороны, поэт у Батюшкова внемлет «гласу громкому самой природы», и эта конструкция представляет собой яркую метафору *голос природы*, которая вскоре будет реализована, станет зримой и превратится в миф. А чуть ниже Батюшков пишет: «В красе божественной любимцу своему, Природа! ты не раз на Севере являлась». Это опять, вроде бы, и метафора, но за ней стоит известный миф о богине Изиде, скрытой под покрывалом и позволяющей взглянуть на себя только избранным счастливым [Строганов, 2005, с. 15-26]; и эта метафора вновь грозит реализоваться и стать мифом.

Но самое главное, Батюшков берет видения Ломоносова и преобразует их в реально бывшие факты биографии. Ломоносову, как мы помним по его автобиографическим признаниям, приснилось блуждание по острову и обнаружение тела погибшего отца. У Батюшкова никакого отца нет, но есть реальное, а не сновидческое блуждание самого Ломоносова по острову и почти что реальное явление ему «голоса... природы».

Стихотворение Батюшкова оказало огромное влияние на следующее поколение писателей. П.А. Плетнев написал стихотворение «Голос Природы» (1820):

В стране угрюмой и пустой,
Где только дикой красотой
Природа поражает взоры;
Где в грозной прелести своей
Растут из бездн морских зыбей
И носятся в волнах ледяные горы;
Где обнаженные стоят кругом леса
И солнце хладное сияет,

Где ночь на полгода скрывает
 Под мрачную завесу небеса, –
 Там юноша, сын дикой сей Природы,
 Склонивши взор с гранитных скал
 На льды, на пенистые воды,
 Мечтою темною искал
 За таинственной далью
 Счастливых берегов:
 И всё с его сливалось печалью,
 Беседея без слов,
 И скалы, мнилось, в край неведомый смотрели,
 Куда мечты его летели...

Покинув кущи рыбарей,
 Приют своих первоначальных дней,
 С душою, полной упования,
 На голос тайного призванья
 Он в край незнаемый пошел.
 Куда же рок его привел?
 О сердца верные обеты!
 О светлый на Природу взор!
 Сей юноша, пришлец из Холмогор,
 Прославил век Елизаветы!»
 [Плетнев, 2014, с. 45-46].

Плетнев подходит к стихам Батюшкова как к исторически достоверному источнику и старательно пересказывает их. Это позволяет определить ситуацию с еще большей четкостью: юноша-рыбак, сын Севера, бродит по берегам моря, поражаясь дикостью и величием северной природы; он покидает родной край, следуя за «голосом тайного призванья». Кому принадлежит этот голос? У Батюшкова «глас громкий самой природы» можно было истолковать двояко: с одной стороны, это призыв богини Изиды; с другой стороны, это внутренний порыв, устремление самого человека, который отрицает любое внешнее побуждение. Судя по заглавию стихотворения Плетнева, голос Природы принадлежит буквально персонифицированной Природе, тем более что само слово *Природа* написано с прописной буквы (у Батюшкова было и строчное, и прописное написание первой буквы в этом слове, и никакой определенности не было). У Батюшкова – метафора, грозящая обернуться мифом, у Плетнева – миф, уже проросший сквозь метафору. Наконец, очень важен еще один мотив. Юноша рыбак «мечтою темною искал / За таинственной далью / Счастливых берегов». Это, конечно, указание на то, что Ломоносов ориентировался на западноевропейский

канон, на западноевропейскую культуру, хотя и очень смутное указание.

Следующий шаг в развитии мифа делает Грибоедов. С.Н. Бегичев вспоминал, что «для открытия нового театра в Москве, осенью 1823 года, располагал он написать в стихах пролог в двух актах, под названием “Юность вещего”. При поднятии занавеса юноша-рыбак Ломоносов спит на берегу Ледовитого моря и видит обаятельный сон, сначала разные волшебные явления, потом муз, которые призывают его, и, наконец, весь Олимп во всё его величии. Он просыпается в каком-то очаровании; сон этот не выходит из его памяти, преследует его и в море и на необитаемом острове, куда с прочими рыбаками отправляется он за рыбным промыслом. Душа его получила жажду познания чего-то высшего, им не ведомого, и он убегаёт из отеческого дома. При открытии занавеса во втором акте Ломоносов в Москве, стоит на Красной площади. Далее я не помню. <...> Пролога он написать не успел, а театр открылся» [Грибоедов в воспоминаниях, 1980, с. 29].

Открытие вновь отстроенного московского Большого театра состоялось 6 января 1825 г., однако в этот день был исполнен пролог «Торжество муз», написанный литературным оппонентом Грибоедова М.А. Дмитриевым. Поэтому следует предположить, что первоначально пролог был заказан Грибоедову, но когда тот не выполнил этот заказ, другой пролог и поручили написать Дмитриеву. Фактически «Торжество муз» в России (на Севере) и «Юность вещего» – это два варианта одной и той же темы: ‘призвание русского искусства к служению’. Другое дело, что Грибоедов предполагал изобразить сам процесс этого призвания (призывания) в лице Ломоносова, а Дмитриев продемонстрировал уже результаты этого призвания.

Нам приходится принимать свидетельство Бегичева за текст самого Грибоедова, так как в целом он не сохранился. Сохранился и был опубликован только фрагмент этого пролога, начало которого изложено конспективно: «Куростров. Ищут Михаила. Находят его. Ночь перед отплытием в дальний путь». Далее следуют стихи, из которых приведем только последний фрагмент:

Великим – средь Австралии зыбей,
Иль в Севера снегах, везде одно ли
Присуждено? – Искать желанной доли
Путем вражды, препятствий и скорбей!
И тот певец, кому никто не смеет
Вослед ступить из бардов сих времен,
Пред кем святая Русь благоговет,
Он отроком, безвестен и презрен,
Сын рыбака, чудовищ земноводных
Ловитвой жил; в пучинах ледяных,
Душой алкая стран и дел иных,

Изнемогал в усилиях бесплодных!..

После этих стихов вновь следует прозаический план развития действия:

«Океан, пустынный остров. Любопытство юноши.

Скорбь отца. Вновь отъезд. Нелюбовь.

Соловцы. Неведомый муж, богомолец. Весть о вечерних странах.

Возвращение домой. Побег. Тот же таинственный спутник»

[Грибоедов, 1911, с. 212]¹.

Грибоедов упоминает и перечисляет почти все уже известные нам мотивы: «отрок», «сын рыбака», «океан, пустынный остров», «скорбь отца», «нелюбовь» (как следует полагать, имеется в виду нелюбовь мачехи). Но появляется и новый персонаж, которого ранее мы не встречали: «неведомый муж, богомолец», «тот же таинственный спутник». Можно было бы предположить, что речь идет о старообрядцах, у которых якобы учился Ломоносов, но этому противоречит указание на то, что этот «неведомый муж» сообщает Ломоносову «весть о вечерних <западных> странах», к тому же на Соловках. Ясно, что старообрядец не стал бы увлекать юношу рассказами о греховной Западной Европе. Скорее всего, этот «неведомый муж» является персонификацией того самого «голоса Природы», который призвал Ломоносова служить делу приобщения России к западноевропейской научной традиции. Здесь мифологизирующая тенденция реализуется наконец в зримом облике человека, хотя и «таинственного». Мы видим здесь воплощение мифа о призвании культуры и носителя этого призвания – Ломоносове.

Ту же самую модель воспроизводит и А.Ф. Мерзляков в стихотворении «Шувалов и Ломоносов» (1827), посвященном «почтеннейшим членам Университетского совета»:

Сын бедный рыбака, – с отцом я престарелым
И с другом – Бедностью, – кормилицей трудов,
Носился по волнам среди громадных льдов;
Но Бог меня возвал. – Птенец, полетом смелым
Стремлюсь на глас, зовущий издали, –
На глас всесильный, но безвестный,
Как ласки матери, как глас любви прелестный,
Забыл семью и дом, поля родной земли!..
О Музы! вас самих в свидетели зываю
Всех тягостных трудов, утраченных вам в дань,
Всех бедствий, кои знал и кои ныне знаю!..
Но не ропщу на них

¹ Следует заметить, что в последнем академическом издании сочинений Грибоедова прозаический план, который следует за стихами, по недоразумению не был напечатан ни в основном корпусе, ни среди вариантов: [Грибоедов, 1999, с. 157].

[Мерзляков, 1827а, с. 329]¹

Отличие Мерзлякова состоит в том, что героя воззвал уже непосредственно сам Бог, но воззвал всё из тех же условий и для службы всё тех же Муз, что и у предшественников.

Процесс формирования мифа о призвании завершается в стихотворении А.С. Пушкина «Отрок» (1830), которое было опубликовано впервые в 1831 г. в альманахе «Северные цветы на 1832 год» и вскоре вошло в третью часть «Стихотворений» Пушкина (1832):

Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбаля!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы;
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям
[Пушкин, 1948, с. 241].

Главное, что отличает это стихотворение от всех других обращений к нашему сюжету, – это его краткость. Пушкин на самом деле рассказывает миф, свернутый эквивалент многомерной реальности.

Мы видим у Пушкина то же самое студеное северное море; здесь те же самые сети-мрежи, заимствованные у Батюшкова; здесь тот же рыбак-отец и его сын, правда, уже не юноша, а мальчик. Пушкин, с одной стороны, прав: слово *мальчик* более соответствует отроческому возрасту, чем слово *юноша*; хотя, с другой стороны, если воспринимать это слово в его исторической конкретности, возникает другая проблема. Согласно общепринятой церковной традиции, отроческий возраст – это 7–14 лет, и в таком случае возникает естественный вопрос: почему Ломоносов, получивший призвание до 14 лет, откладывал его исполнение как минимум целых пять лет. Новизна картины у Пушкина состоит в другом.

Во-первых, Пушкин отказывается от прямого указания на то лицо, которое возвестило Ломоносову о его призвании, от той прямой персонификации, которую мы видели у Грибоедова. В тексте два носителя речи, но перемена точки зрения у Пушкина внешне ничем не мотивирована и никак не обозначена. Первые полтора стиха дают яркую зрительную картину: рыбак и мальчик. Следующая половина второго стиха и два последних представляют собой воззвание, призыв. Пушкин отказывается от изображения посредника, который в любом случае выглядел бы неоправданно: откуда бы такой человек мог появиться на берегах Северного моря? Призывание отрока осуществляет у Пушкина сам Господь, хотя и не названный, как мы видели это у Мерзлякова. Фактически Пушкин восстанавливает ту модель отношений человека с Богом, которую воспроизводил и сам Ломоносов при рассказе о своем первом утре по

¹ Ср. также: [Мерзляков, 1827б, с. 13].

прибытии в Москву.

Во-вторых, новое у Пушкина состоит в том, что он не пишет о Ломоносове как поэте. Муравьев (на самом деле, очень ценивший Ломоносова как ученого), Батюшков, Плетнев, Грибоедов, Мерзляков, Некрасов, Милькеев – все они пишут о Ломоносове как о поэте: «На лире пробуждать хвалебный глас учусь / И за кормой твоей, отважный Ломоносов...»; «Наш Пиндар»; «Фебов жрец»; «Прославил век Елизаветы»; «тот певец, кому никто не смеет / Вослед ступить из бардов сих времен, / Пред кем святая Русь благоговеет»; «Поэт, задумчивости полный, / В даль моря грозного смотрел»; «О Музы! вас самих в свидетели зываю». Короче говоря, для всех Ломоносов – это поэт, в первую очередь поэт. Пушкин тоже признавал, что «словесность наша, кажется, не старее Ломоносова» [Пушкин, 1937, с. 150]. Но главное для Пушкина в Ломоносове – это то, что он «помощник царям», а в белой рукописи было сказано: «подвижник Петру» [Пушкин, 1948, с. 1217]. Пушкин уравнивает дело Ломоносова и дело Петра. Как Петр создал новое государство, так Ломоносов создал новую науку и «был первым нашим университетом».

Параллельно с Пушкиным над ломоносовским мифом работал и И.П. Мартос, который уже в 1829 г. (до создания стихотворения Пушкина) создал памятник Ломоносову, установленный в Архангельске в 1832 г. (после публикации стихотворения Пушкина). Памятник состоит из двух фигур: полуобнаженный Ломоносов стоит, задрапированный в ткань наподобие римской тоги, а обнаженный крылатый гений, опустившись на левое колено, подает ему лиру, на которой вырезан вензель императрицы Елизаветы Петровны.



Памятник М.В. Ломоносову в
Архангельске работы скульптора
И.П. Мартоса.

Мы видим, что Мартос идет по общему со всеми пути, толкуя Ломоносова только как поэта. Но главное всё же в том, что Мартос еще не решился изобразить Ломоносова юношей и изображает его матерым, зрелым мужчиной.

Но у Пушкина миф был сформирован окончательно, и теперь его развитие остановилось. Произведения других авторов о Ломоносове уступали в своей известности стихотворению Пушкина, а незавершенный текст Грибоедова вообще не был известен современникам и ближайшим потомкам. И именно потому, что текст Пушкина был хорошо известен (напомним, что в 1832 г. он был напечатан дважды), последующие авторы опирались на него и

полемизировали откровенно с ним.

Действие юношеской «драматической фантазии» Н.А. Некрасова «Юность Ломоносова» (1840) разворачивается в «простой крестьянской избе»: «Старик починивает сеть; пожилая женщина сидит за самопрялкой; вдали в задумчивости сидит мальчик с книгой» [Некрасов, 1983, с. 7]. Из первого же монолога Старика выясняется, что семья находится в нищенском положении, «того гляди, придется голодать». Вскоре выясняется, что этот Старик и Женщина являются отцом и матерью Ломоносовыми, которые видят в сыне поддержку своей бедной старости. Но надежды их напрасны: сын «книжки зачитался»:

...как-то сердцу

Приятно, как начну читать псалтырь (с. 8).

Сын Ломоносов не принимает участия ни в каких житейских делах (точно, повторим, житийный герой, отказавшийся от всего мирского) и Старик-отец сетует:

Чтоб иногда развесил мне хоть сети
Для сушки... (с. 12)

Михаил прямым ходом просится у отца отпустить его в Питер (буквально в Питер, хотя такое сокращенное именование в 1730 г. еще не существовало):

Свези же в Питер, мой родимый,
Меня, и в школу там отдай!
Я скоро выучусь, приеду
И с вами снова буду жить! (с. 14)

Старик в злости отбирает у него книги и запрещает думать об ученье. Действие второй сцены разворачивается на «большой дороге». Михаил размышляет, как ему продолжить учение:

К тому назначен я судьбой и знаю,
Что говорил мне тот небесный вестник,
Во сне который посетил меня!
Он мне сказал: «Высок удел,
Который для тебя назначен,
Иди, лишь не кривым путем,
Будь честен, добр, покорен, прямодушен,
К чужому зависти не знай:
И своего довольно будет!

Учись прилежно; силы все
Употреби ты на науку,
Иначе будешь мужиком!»
И вдруг пропал; тут на меня
Повеял запах ароматный...
Сначала я не понимал,
Что делать; после догадался,
За книгу взялся в тот же час
И с той поры всё думал, думал,
Как бы учиться, как бы мне
Моей судьбины не прогневать!.. (с. 15)

Мимо Михаила «по дороге проезжают несколько путешественников», «проходят несколько пешеходцев», «проезжают извозчики с кладью» (с. 16). Не устояв перед таким соблазном, Михаил уезжает с ними.

Некрасов невольно разворачивает план Грибоедова, еще не зная его. Историческая истина Некрасову не нужна. Весьма состоятельный и грамотный отец Ломоносова, фактически отпустивший сына из дома на учебу (иначе как бы он получил паспорт?), превращается в неграмотного бедняка, не понимающего смысла в знаниях и по-детски обижающегося на книги. Мачеха Ломоносова, которая, по его собственным словам, ругала его за неумеренную страсть к чтению, превращается в родную мать, сетующую по этому поводу. Сам Михаил из 19-тилетнего юноши становится беззаботным мальчиком, который так увлекается книгой, что забывает свои обязанности, которые должен выполнять в семье. А Москва вообще превращается в Питер. Короче говоря, Некрасов везде заменил одно на другое. Единственным элементом сюжета, который он оставил нетронутым, было само событие призвания. Правда, «небесный вестник» посещает Ломоносова не наяву, а во сне, но он оставляет за собой «запах ароматный», как и положено при чудесном видении.

Поэт Е.Л. Милькеев, как и многие его современники, высоко ценил Ломоносова и обращался к его авторитету даже в таком скольком вопросе, как вопрос о пьянстве («Русское вино»). В стихотворении, посвященном изучаемому нами мифу, он взял другие сюжетные элементы, но пошел, однако, тем же самым путем и написал стихотворение «Сон Ломоносова» (цензурное разрешение сборника дано 28 июня 1842 г., это единственное основание для датировки стихотворения). Приведем это стихотворение целиком, поскольку современные переиздания его отсутствуют, а единственное прижизненное издание крайне редкое и не может быть доступно всем читателям:

Корабль на парусах летел,
Торжественно шумели волны.
Поэт, задумчивости полный,
В даль моря грозного смотрел.
Валы, вздымаясь из пучины,
Стремясь один другому вслед,
Несли корабль как исполины.
Казалось, дикостью картины
Был занят, увлечен поэт...
Уже к закату день клонился;
Вот в бездны лучезарный шар
Великолепно погрузился...
Как фимиам, вечерний пар
Над присмирившими волнами
Поднялся дымными холмами;
Оделось море тишиной.
Склоняясь усталой головой,
Поникнув томными очами,
Поэт себя и мир забыл...
Сон благотворными крылами
Его зеницы осенил.
И в тонком сне поэт печальный
Мятежась робкою душой...
Он видит сон патриархальный,
Всю простоту страны родной:
Под яркой крышею соломы
Светлеют низменные дома
Миролюбивых рыбаков;
Обремененные сетями,
Их челноки стоят рядами
У безопасных берегов.
Здесь тяжкий невод выгружают,
Там на разложенном огне
Кипит котел, а вот играют
И дети, праздная весна.
Всё мило, радует поэта;
Не помнит он волнения света,
Разлуки с родиной святой.
Опять жилец беспечный дома,
В семье приветливой, родной,
Со всем душа его знакома.
Он видит сверстников – друзей

Минувшей юности своей.
Он разделяет от охоты
С отцом домашние заботы
И на ловитву едет с ним;
Вот по равнинам голубым
Шум кротких вёсел раздаётся,
Ладья пучиною несётся,
Из виду темный берег скрыт;
Вдруг набежали сверху тучи,
Сорвался с цепи ветер могучий,
И море грозное бурлит.
Куда пловцы свой взор ни кинут,
Везде ужасно и темно;
И вдруг челнок их опрокинут...
Отец и сын идут на дно,
Добыча бездны разъяренной...
Но сын трепещущий мгновенно
Спасен от хищной глубины:
Он очутился на стремнине,
В необитаемой пустыне,
Среди могильной тишины;
И нарушают лишь молчанье
Стон хищных птиц да вой волков,
И ощутительно дыханье
Во мгле скрывающихся льдов.
В нем сердце дрогнет, замирает,
Пугливый взор его блуждает...
Пустыне дикой нет конца.
Но вдруг, о ужас! сын смятенный
На камне видит труп отца
Без жизни, череп раздробленный...
И чары сна изнемогли:
Стеня страдалец пробудился;
Ручьи из глаз его текли,
И перед ним во мгле носился,
Мелькая, призрак гробовой...
Чья тень, прощаясь с землей,
На вечный отдых отлетала
И будто с милого лица
Вперенных взоров не спускала?
То тень почившего отца,
Который в скорбную кончину

¹ Искренне благодарю Н.В. Серебренникова за указание на это издание.

Еще стремился сердцем к сыну...

[Милькеев, 1843, с. 27-31]¹.

Как и многие другие мемуаристы и поэты, Милькеев воспроизводит ситуацию сна на море. Однако сон, который у Милькеева снится Ломоносову, имеет характер не чуда или откровения, а воспоминания о реальном событии, случившимся с его отцом на глазах сына.

Милькеев с другой стороны, чем Некрасов, но тоже обытовляет мифологическую картину и низводит миф о призвании до обычной бытовой зарисовки в духе ранней натуральной школы. Разумеется, рисуемые ими ситуации экзотичны, но они подаются как ситуации повседневной жизни, герой теряет черты избранника и становится либо самым обычным удачником, либо упорным трудягой. Миф сложился, и настала пора позитивистского истолкования (развенчания) мифа. Но позитивистское истолкование (развенчание) может существовать лишь потому, что ему есть что развенчивать; позитивистское развенчание всегда паразитирует на мифе и поэтому не порождает своих продуктивных построений.

По другому пути, но также по пути позитивистского истолкования мифа значительно позднее пошел и Ф.Н. Глинка в стихотворении «Мальчик в лаптях и нагольном тулупе» (1866):

Дружно артель рыбаков боролась средь Белого моря,
В море, где зимнего льда неслись еще горы. Весна,
Щурясь, глядела чуть-чуть сквозь тальник и низехонький ельник.

Кое-где мурава появлялась на тундрах. Олени
Лесом бегучим, рогатым носились по ним всё...

Ловит артель рыбаков и моржей, и тюленей, дивуясь,

Как из ноздрей своих кит мечет высоко, на воздух,

Башнями влагу. Ночь звезды, горящие жаром,

В море холодном купает. При этом на мшистом пригорке

Мальчик в лаптях и нагольном тулупе думает думу:

«Как это, Господи Боже? Откуда явилось всё это?

Солнце идет и заходит! Зори в свой час зажигают

Алые свечи свои! В море всё льдины трещат

И громадами к берегу бьются.

Кто это всё так устроил? Как бы хотел я узнать

О порядках земных и небесных!

Господи Боже! Недаром вложил ты мне в детское сердце

Жажду ведать и знать, выследить и разумно,

Опытным глазом глядеть на людей и на чудный твой мир
поднебесный!»

Мальчик в лаптях и в нагольном тулупе так думал у моря

И про себя говорил: «На Москве есть колодезь, сказали,

Чудной какой-то воды... Выпьешь, и вдруг пред тобою
Вскроется всё! Небеса тайны поведают, книги
Прошлых веков распахнутся, – а ведь всё от воды той предивной.
Воду же дедушка¹ ту называл мне наукой.
Что ж? Была не была! Побегу я туда за обозом!...

Был доклад на Москве, отцу ректору в академии:
«Мальчик в лаптях и в нагольном тулупе явился и просит,
Просит и молит слезно принять его в классы учащихся.
Нищий не просит так хлеба, как он просит науки и знания».
Принят! Вошел он туда, – мальчик в лаптях и в тулупе, –
Вышел оттуда уж муж в сапогах и в почетном кафтане!

Где-то в Прусской земле рядовые сидели и пили,
Говор был о войне с турками русских при Анне.
Вдруг один между них выглянул истым пророком:
Шапка слетела с чела, а само высоко поднялось всё,
Дивным огнем загорелись, синим – лучистые очи,
Русская кровь разыгралась, и запел всероссийский пиита:
«Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верх горы высокой,
Где ветер в лесах шуметь забыл,
В долине тишина глубокой!»
«Что за чудные вирши? Что за ода? Откуда?
Кто он? Откуда вдруг взял и слова, и размеры?
Всё так ново!.. Музыка ухо ласкает и к сердцу
Теплой струею бежит! Строки, как вещие струны,
Дивно звучат и поют нам высокие русские песни!» –
Так при дворе говорили в шитых кафтанах вельможи.
Было то на пиру, в золоченом дворце у царицы,
В красном кафтане сидел муж именитый с высоким,
Ясным челом, и о нем говорили с почтеньем друг другу:
«Се наш пиита, философ, химик, художник, создатель
Нового штиля!» А этот химик, художник, пиита
Тот же знакомый нам мальчик в лаптях и в нагольном тулупе!

Вот и сто лет уж прошло. И сто лет говорят: «Славой россов
Неоспоримо и есть, и пребудет наша честь Михаил Ломоносов!»
Посмотрите же все, у кого бьется русское честное сердце,

¹ Дьячок, научивший Мишу грамоте, а не его родной дед. Прим. Ф.Н. Глинки.

Кто теперь мальчик в лаптях и в смиренном нагольном тулупе?
Кто ж, как не наша святая Русь! Миллионы проснулись!
Говор сплошной повсюду: света и света все просят!..
Просят воды животворной! Много даров и дааний,
Бог наш Господь в затулупную пазуху русским
Сердцу дал много тепла, голове же – и толк, и смышленость!
Нам надлежит всё развить и, развив, так разумно устроить,
Чтобы наш мальчик в лаптях и тулупе нагольном вдруг прямо и бодро
Стал меж народов, как днесь славой, величием россов
Стал, устоял и стоит богатырь Михаил Ломоносов
[Глинка, 1869, с. 435-437].

Здесь тот же миф о призвании: некий «дедушка» сообщает мальчику Ломоносову о том, что на Москве есть какой-то источник знаний, который он достаточно наивно воспринимает буквально – как источник воды. В примечании Глинка поясняет, что под «дедушкой» имеется в виду «дьячок, научивший Мишу грамоте, а не его родной дед». Но в тексте он оставляет мифического «дедушку», потому что так требует закон жанра, закон мифа о призвании. И в лице Ломоносова, пишет далее Глинка, в науку был призван весь крестьянский, весь низовой люд России: «Миллионы проснулись! / Говор сплошной повсюду: света и света все просят!.. / Просят воды животворной!». Внешне Глинка использует совершенно иной материал, иную образность. Но по сути он развивает тот же самый миф.

Миф о призвании сложился именно у Пушкина, конечно, не потому, что Пушкин был великим поэтом, но потому, что Пушкин очень хорошо понимал значение Ломоносова. Как мы уже сказали, Пушкин не высоко оценивал стихи и прозу Ломоносова, и он был совершенно прав. Стихи и проза Ломоносова были не собственно стихами и прозой, а научным экспериментом – таким же, какими были его эксперименты в области физики, химии, истории. Но если эксперименты в области позитивных наук имеет неотменяемую историческую ценность, но ценность экспериментов в области искусства преходяща. Восторгаться стихами Ломоносова уже невозможно, но так же невозможно не признавать его заслуги перед отечественной наукой. Как мы уже сказали вначале, нам сейчас не важно, были ли заслуги Ломоносова в какой-то конкретной области знания на самом деле велики. Несомненно и важно другое: он создал и продвинул вперед собственно отечественную науку. Здесь его деятельность уникальна, здесь его заслуги неопенимы.

В этом отношении мы не согласны с концепцией известной работы В.М. Живова, который (вслед за Пушкиным) рассматривает Ломоносова как «реплику» Петра, но (вопреки Пушкину) только в

рамках писательской деятельности [Живов, 1997]. Между тем, как заметил в свое время Пушкин, чьи слова мы приводили уже в самом начале, писательство не являлось для самого Ломоносова приоритетной сферой деятельности, он чувствовал себя в первую очередь ученым. Поэтому и не следует говорить о том, что в лице Ломоносова была призвана только русская литература, – в лице Ломоносова была призвана вся русская наука и культура. Вместе с тем В.М. Живов по-своему прав. Хорошо известно, что в архаических культурах лекарь-знахарь, служитель культа и поэт совмещались в одном лице, и память об этом синкретизме сохранилась в известной степени до нашего времени. Поэтому литература замещает в нашем сознании все остальные сферы научной и культурной деятельности, и поэтому сфера литературы оказывается самой понятной и востребованной всеми слоями общества. То, что писал Ломоносов-физик, современные физики уже почти не читают. То, что писал Ломоносов-поэт, изучают в школе (хотя, может быть, и напрасно).

Миф в том виде, как его зафиксировал Пушкин, постоянно воспроизводится в различных зрительных формах. Но с течением времени образ юного Ломоносова закрепляется в общественном сознании.

На памятнике Ломоносову (Петербург, площадь Ломоносова, 1892, скульптор П.П. Забелло) мы видим бронзовый бюст зрелого мужчины. Но на лицевой грани постамента укреплен бронзовый



Памятник М.В. Ломоносову (1892), скульптор П.П. Забелло Фрагмент памятника Ломоносову (1892), скульптор П.П. Забелло

барельеф с изображением крестьянского мальчика, читающего книгу, а на тыльной стороне – текст стихотворения Пушкина.

В 2011 г., в год 300-летия Ломоносова, были объявлены сетевые конкурсы рисунков для школьников «Родные места М.В. Ломоносова» и «Биография М.В. Ломоносова». На эти конкурсы было прислано очень большое число работ, на которых изображены мальчики, либо читающие книгу на берегу моря, либо задумчиво глядящие в далекие

морские просторы [Электронный ресурс, <http://www.lomonosov300.ru/pictkonkurs.htm>]. Вот рисунки с весьма характерными названиями: «Зовущие дали», «Ранние мечты Ломоносова», «Кто малого не может, тому и большее невозможно», «В думках о науке», «Отрок Ломоносов на берегу моря», «Ломоносов М.В. на берегу моря», «Мечты. Юный Ломоносов», «Вдохновение ветром». Или не очень типичные названия, зато самые тривиальные сюжеты: «Остров М. Ломоносова», «В свободную минутку...» Иногда, впрочем, на берегу моря изображается не юный, а зрелый уже Ломоносов, название: «Просторы». Одна работа вызывает особый интерес, хотя не столько изобразительным рядом, сколько словесным. На этой работе изображено море с рыбачьей лодкой и уходящее за горизонт солнце. Надпись же такова:

Жил мальчик средь холодной красоты
На побережье северного моря...
Но паруса надежды и мечты
Его к открытиям поманят скоро!

Как сказано в подписи, автором работы и текста является



Даниил Субботин 10-ти лет (Пермь), хотя для 10-тилетнего ребенка это чересчур зрелые стихи.

«Тайный хранитель Земли». Ломоносову – исследователю космоса.

Но при всей внешней близости этих детских рисунков к главному мифу о Ломоносове собственно мифологического начала в них нет. Есть вся декорация мифа, но феномен призывания никак не отражен в них, если не считать книгу в руках мальчика Ломоносова метонимией этого призывания. Так что можно уверенно сказать, что в

настоящее время в широкой народной среде миф о Ломоносове неизвестен. Ломоносов поэт и ученый известен, а его роль в культурной жизни страны забыты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Батюшков, К. Н. Сочинения: в 2 т. Т. 1 / К.Н. Батюшков. – Москва: Художественная литература, 1989. – 511 с.

Глинка, Ф. Н. Собрание сочинений. Т. 1: Духовные стихотворения / Ф.Н. Глинка. – Москва: Тип. газеты «Русский», 1869. – 490 с.

Грибоедов, А. С. Полное собрание сочинений: в 3 т. Т. 1 / А.С. Грибоедов. – Санкт-Петербург: Изд. ИАН, 1911. – 328 с.

Грибоедов, А. С. Полное собрание сочинений: в 3 т. Т. 2 / А.С. Грибоедов. – Санкт-Петербург: Нотабене, 1999. – 618 с.

А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников / Вступит. статья, составление и подгот. текста С.А. Фомичева. Комментарии П.С. Краснова, С.А. Фомичева. – Москва: Художественная литература, 1980. – 448 с.

Державин, Г. Р. Стихотворения / Сост., вступит. статья и комментарии А. Я. Кучерова. Подготовка текста А. Я. Кучерова и Е.В. Климиной. – Москва: ГИХЛ, 1958. – 561 с.

Живов Виктор. Первые русские литературные биографии как социальное явление: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков / Виктор Живов // Новое литературное обозрение. – 1997. – № 25. – С. 24-83.

Литературное творчество М. В. Ломоносова: Исследования и материалы. – Москва; Ленинград: Изд. АН СССР, 1962. – 323 с.

Ломоносов, М. В. Полное собрание сочинений. Т. 9: Служебные документы, 1742–1765 гг. / подгот. к печати Г.П. Блок; ред.: А.И. Андреев, Г.П. Блок, Г.А. Князев. М.В. Ломоносов. – Москва; Ленинград: Изд. АН СССР, 1959. – 1018 с.

М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников / Сост. Г. Е. Павлова. – Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1962. – 232 с.

Мерзляков, А. Шувалов и Ломоносов: Лирико-драматическое стихотворение (Посвящается почетнейшим членам Университетского совета) / А. Мерзляков // Московский вестник. – 1827. – Ч. 4, № 16. – С. 345-360.

Мерзляков, А. Шувалов и Ломоносов: Лирико-драматическое стихотворение: Читано в торжественном собрании Совета Императорского Московского университета января 12 дня 1827 года: Посвящается почетнейшим членам Университетского совета / А. Мерзляков. – Москва: В университетской тип., 1827. – 16 с.

Милькеев, Е. Стихотворения / Е. Милькеев. – Москва: В губернской тип., 1843. – 227 с.

Модзалевский, Б. Л. Род и потомство Ломоносова / Б.Л. Модзалевский // Ломоносовский сборник. 1711–1911. – Санкт-Петербург: Имп. АН, 1911. – С. 331-344.

Муравьев, М. Н. Стихотворения / Вступит. статья, подгот. текстов и примечания Л. И. Кулаковой / М.Н. Муравьев. – Ленинград: Советский писатель, 1967. – (Библиотека поэта. Большая серия). – 386 с.

Некрасов, Н. А. Полное собрание сочинений и писем: в 15 т. Т. 6. / Н.А. Некрасов. – Ленинград: Наука, 1983. – 719 с.

Николаев, Н. И. Миф о Ломоносове как северный текст / Н.И. Николаев, Т.В. Швецова // Северный текст в русской культуре: материалы международной конференции. Северодвинск, 25–27 июня 2003 г. – Архангельск: Поморский университет, 2003. – С. 20-25.

Пекарский, П. П. История Императорской Академии наук в Петербурге / П.П. Пекорский. – Санкт-Петербург: Изд. Отделения русского языка и словесности ИАН, 1873. Т. 2. – 1042 с.

Плетнев, Петр. Полное собрание стихотворений / Изд. подгот. М.В. Строгановым / Петр Плетнев. – Минск: Лимариус, 2014. – 290 с.

Пушкин, А. С. Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. 8. – Ленинград: Изд. АН СССР, 1937. – 699 с.; Т. 3. – Ленинград: Изд. АН СССР, 1948. – 1378 с.; Т. 11. – Ленинград: Изд. АН СССР, 1949. – 588 с.

Пыпин, А. Н. Ломоносов и его современники / А.Н. Пыпин // Вестник Европы. – 1895. – № 3. – С. 295-342.

Пыпин, А. Н. Ломоносов и его современники / А.Н. Пыпин // Вестник Европы. – 1895. – № 4. – С. 689-732.

Сионова, С. А. Роль личности М.В. Ломоносова и его поэзии в творческой биографии М.Н. Муравьева / С.А. Сионова // Михаил Муравьев и его время: Сборник статей и материалов Третьей Всероссийской научно-практической конференции. – Казань: РИЦ, 2011. – С. 14-22.

Строганов, М. В. «Мир от красоты»: Проза и поэзия Афанасия Фета / М.В. Строганов. – Курск: Курский гос. ун-т, 2005. – 164 с.

REFERENCES:

Batyushkov, K. N. Sochineniya: v 2 t. Т. 1 / К. N.Batyushkov. – Moskva: Hudojestvennaya literature, 1989. – 511 s.

Glinka, F. N. Sbranie sochinenii. Т. 1. Duhovnie stihotvoreniya / F.N. Glinka. – Moskva: Tip. gazeti «Russkii», 1869. – 490 s.

Griboedov, A. S. Polnoe sbranie sochinenii: v 3 t. Т. 1 / A.S. Griboedov. – Sankt Peterburg: Izd. IAN, 1911. – 328 s.

Griboedov, A. S. Polnoe sbranie sochinenii: v 3 t. Т. 2 / A.S. Griboedov. – Sankt-Peterburg: Notabene, 1999. – 618 s.

A. S. Griboedov v vospominaniyah sovremennikov / Vstupit. statyau sostavlenie i podgot. teksta S.A. Fomicheva. Kommentarii P.S. Krasnova, S.A. Fomicheva. – Moskva: Hudojestvennaya literature, 1980. – 448 s.

Derjavin, G. R. Stihotvoreniya / Sost., vstupit. statya i kommentarii A. Ya. Kucherova. Podgotovka teksta A.Ya. Kucherova i E. V. Kliminoi / G.R. Derjavin. – Moskva: GIHL, 1958. – 561 s.

Jivov, Viktor. Pervie russkie literaturnie biografii kak socialnoe yavlenie: Trediakovskii, Lomonosov, Sumarokov / Viktor Jivov // Novoe literaturnoe obozrenie. – 1997. – № 25. – S. 24-83.

Literaturnoe tvorchestvo M. V. Lomonosova: Issledovaniya i materialy. – Moskva; Leningrad: Izd. AN SSSR, 1962. – 323 s.

Lomonosov, M. V. Polnoe sobranie sochinenii. T. 9. Slujebnie dokumenty. 1742–1765 gg. / podgot. k pečati G.P. Blok; red. A.I. Andreev, G.P. Blok, G.A. Knyazev / M. V. Lomonosov. – Moskva; Leningrad: Izd. AN SSSR, 1959. – 1018 s.

M.V. Lomonosov v vospomnaniyah i harakteristikah sovremennikov / Sost. G.E. Pavlova. – Moskva; Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1962. – 232 s.

Merzlyakov, A. Shuvalov i Lomonosov. Liriko_dramaticheskoe stihotvorenje. Posvyaschaetsya pochetneishim chlenam Universitetskogo soveta / A. Merzlyakov // Moskovskii vestnik. – 1827. – Ch. 4. – № 16. – S. 345-360.

Merzlyakov, A. Shuvalov i Lomonosov. Liriko_dramaticheskoe stihotvorenje. Chitano v torjestvennom sobranii Soveta Imperatorskogo Moskovskogo universiteta yanvarya 12 dnya 1827 goda. Posvyaschaetsya pochetneishim chlenam Universitetskogo soveta / A. Merzlyakov. – Moskva: V universitetskoj tip., 1827. – 16 s.

Milkeev, E. Stihotvoreniya / E. Milkeev. – Moskva: V gubernskoj tip., 1843. – 227 s.

Modzalevskii, B. L. Rod i potomstvo Lomonosova / B.L. Modzalevskii // Lomonosovskii sbornik. 1711– 1911. – Sankt-Peterburg: Imp. AN, 1911. – S. 331-344.

Muravev, M. N. Stihotvoreniya / Vstupit. statya_ podgot. tekstov i primečaniya L.I. Kulakovo / M.N. Muravev. – Leningrad: Sovetskii pisatel, 1967. – 386 s. (Biblioteka poeta. Bolshaya seriya).

Nekrasov, N. A. Polnoe sobranie sochinenii i pisem: v 15 t. / N.A. Nekrasov. – Leningrad: Nauka, 1983. T. 6. – 719 s.

Nikolaev, N. I. Mif o Lomonosove kak severnii tekst / N.I. Nikolaev, T.V. Shvecova // Severnii tekst v russkoj kulture: materialy mejdunarodnoj konferencii. – Severodvinsk, 25-27 iyunya 2003 g. – Arhangel'sk: Pomorskii universitet, 2003. – S. 20-25.

Pekarskii, P. P. Istoriya Imperatorskoj Akademii nauk v Peterburge / P. P. Pekarskii. – Sankt-Peterburg: Izd. Otdeleniya russkogo yazika i slovesnosti IAN, 1873. T. 2. – 1042 s.

Pletnev, Petr. Polnoe sobranie stihotvorenii / Izd. podgot. M.V. Stroganovim / Petr. Pletnev. – Minsk: Limarius, 2014. – 290 s.

Pushkin, A. S. Polnoe sobranie sochinenii_ V 16 t. T. 8 / A.S. Pushkin. – Leningrad: Izd. AN SSSR, 1937. – 699 s.; T. 3. – Leningrad: Izd. AN SSSR, 1948. – 1378 s.; T. 11. – Leningrad: Izd. AN SSSR, 1949. – 588 s.

Pipin, A. H. Lomonosov i ego sovremenniki / A.H. Pipin // Vestnik Evropi. – 1895. – № 3. – S. 295-342.

Pipin, A. H. Lomonosov i ego sovremenniki / A.H. Pipin // Vestnik Evropi. – 1895. – № 4. – S. 689-732.

Sionova, S. A. Rol lichnosti M.V. Lomonosova i ego poezii v tvorcheskoi biografii M.N. Muraveva / S. A. Sionova // Mihail Muravev i ego vremya: Sbornik statei i materialov Tretei Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferencii. – Kazan: RIC, 2011. – S. 14-22.

Stroganov, M. V. «Mir ot krasoti»: Proza i poeziya Afanasiya Feta / M.V. Stroganov. – Kursk: Kurskii gos. un-t, 2005. – 164 s.